

No 2017 a.

же выступил против увлечения имо, чуждо ветра, учения „Палата № 6“, „Дорогие люди“, „Моя жизнь“ и др.—вот эти художественный по форм протест. Несколько позже, в одном из своих писем Чехов пишет: „Долговязая философия сильно трогала меня, владыка мой был 6—7, я действительно на меня из отчужденного положения, который был бы изгнаны раньше, а тем не менее, махера выражаться — рассудительность и, в первую очередь, типичность своего рода; теперь же во мне что-то протестует“... Ис момента появления этого протеста начинается переход в песенный мир Чехова: критика творчества дала ему возможность найти теоретический выход из замкнутого круга тусклой обыденности и беспроблемного мифического бытия и, следовательно, „протест“ (проблемное выше дало 1934 г.).

Самосовершенствование, это же идеал толсто-го и вообще эпохи восьмидесятых годов, те-перь утратил для Чехова всякое обаяние. „Навалю огрцов и хлеба и думать, что от этого стать совершеннее“—пронизывает онь в „Песни“. Разделение свободы на внутреннюю и внешнюю—профайлы свяще-ного слова („Палата № 6“). Духовный рай повествуется о таком подразделении в рас-сказах: „между теплыми уютными кабинетами и этой палатой пить никакой разницы; покой и удовольствие человека не вня его, а в нем самом... Обыкновенный человек идет к хо-рошему или дурному извн, то-есть от ко-наты и кабинета, а мыслящий—от само-го себя... Если вы почтете судите выдумаете, то вы поймете, как, что было все то влнлось, что волнует нас. Нужно стремиться к ду-ховной жизни, а в нем истинное благо“... Это говорит безразличней толстоств и Че-хов, в период абсолютного пессимизма не нашел бы что возразить ему. Теперь же он обрушивается с рвкой отповедью на подобные мысли: „...Суета-суета, вышнее и внутреннее, жаренье и жжение, страдания и смерти, разрушение, истинное благо—все это философия, самая подходящая для русского человека“...—Это говорит душевно больной Промов, и продолжает: „уразумнн... вышнее, внутреннее... Извннее, этого не по-нимаю. Я знаю только,—я знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов, да-ст! и органическая ткань, если она жизне-способна, должна реагировать на всякое раз-рушение. И я реагирую! На боль и отклик, на крохот и слезы, на холодность—негодующий, на мерзость—отрадаемый. По-этому, его соб-ственно и называю жизнью“. Принять жизнь по таким соображениям, Чехов уже не мог, да же копировать абсолютный пессимизм, а так же не в состоянии был следовать за философией наситного самосовершенствования.

И Чехов утратил от пессимизма. „Наста-нут лучшие времена—воскреснет Чехов-Промов,—вселяет зари новой жизни, вос-кресствует праздник, и—на нашей улице будет праздник! Я не дожусь, издохну, но за то хотя-нибудь правнука дожусь. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам Бог, друзья!“

То, что это—мысль не только Промова, но и Чехова, ясно из последующих произведе-ний десятилетия. Чехова счастья вбра в то, что будет через десятилетия жить, и об этом он заявлял устами многих своих героев.

„Ть которые будут жить через сто, двести лет посл нас,—говорит Астров из „Дяди Вани“—и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свою жизнь так глупо и так беззачин,—ть, быть может, най-дут средства жить быть счастливыми...“ и „...И, если через тысячу лет человек бу-дет счастлив, то в этом невозможно бу-дывать в я...“ Только, вот вопрос, ть, которые будут жить через сто-двести лет посл нас и для которых мы теперь бриваемся дорою, помнить ли нас добрым сло-вом? Ну, как, вбд не помнить!“ и т. от-внчает: „люди не помнят, зато Бог по-мнит“.

В „Трех сестрах“ Вершинин дается разннать ту же мысль. „Жизнь тяжела; она представляется мне как глупый и бесцельный, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, повидному, недалеко то время, когда она станет совсем свтлой“. „Какая разница между тьм, что есть и что было!—восклицает он,—а про-бодить еще legjobb времени, когда—ибу-дет двести-триста лет и на нашу совершенно жизнь так не будут смотреть и со стра-хом, и с насмнкой... О, лучшее, какая это будет жизнь, какая жизнь!“ И как бы отбнчает: „Через двести, триста, наконец, тысячу лет—дню не в срок—настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нея ждем, теперь, работаем, мы, страдаем, мы тьреть ее—и в этот однок пль по-мнит бытия и, если хотим наше счастье“.

Ище больше радости надежды Соня („Дядя Ваня“): „Мы отдохнем! Мы отдохнем! Мы услышим Ангелов, мы увидим все небо в алмазах!“.

„...Страдания наши перейдут в радость для тьх, кто будет жить посл нас, счастье и мир наступит на земли, и помогут добрым словом и благословят тьх, кто живет те-перь...“—такой заключительный аккорд в „Трех сестрах“.

И все-таки, несмотря на безспорную опти-мистичность настроения Чехова, в эту пору в его произведениях чувствуется тут и там нечто тяжелое, а именно сознание невозмож-ности утратить жизнь не в мир трансцендент-ного и не через сотню тьх на земли, а теперь, немедленно, для живых человеческих жи-

востей. Это видно из двух писем 1894-го года; первое: „Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в философии и воздержании от мяса“; второе: „Я с детства усвоил, в прощенье и не могу не утешать, так как разнн между временем, когда меня драли, и временем, когда я сам перестал драть, была страшная“.

Наш сейчас безразлично, вбрал ли Чехов или только пытался вбрать в счастье жизни, но факт его опасения от отчаяния, от без-просветного пессимизма констатировать мы должны. Под влиянием новых настроений у него появлялся и любовь к широкой и кра-сочной жизни.

И как бы закручивая это новое состояние своего духа Чехов создает „Рассказ не-известного человека“, гд говорит: „...Как хотелось жить! Я готов был обнять и вы-бстить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить и читать, и слушать молоток гдн-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать“.

С течением времени тогда в „неизвест-ному человеку“ приближалась смерть, и мы чувствуем ее приближение,—эта жанд жизнь превращается в упоение ею: „Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день и жизнь дается не дважды“.

Что под этими словами подразумевал Че-хов, можно еще убедиться, но в речах Ярцева („Три сестры“) Чехов высказал от-четливо: „Два богата разнообразия русская жизнь, ах, как богата! Знаете я с каз-дым днем все больше и больше убеждаюсь, что мы живем такануи величайшего торже-ства, и мне хотелось бы доказать, самому уча-ствовать... Я вовсе не хочу, чтобы из меня выпало что-нибудь особенное, чтобы я создавал великие, а мне просто хочется жить, мечтать, насмн, вволю пожить“.

Окончательно же эта мысль созрла в рас-сказе „Крыжовник“, безспорно являющимся последним „рассказом“ на чеховском толсто-стве. „Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но, вбд, три ар-шина нужны телу, а не человеку. И гово-рять также теперь, что если наша интелли-генция захватит тьм тьх земель и стрннать их в усадьбы, то это хорошо. Но, вбд, эти усадьбы ть же три аршина земли уводят из города от борьбы, от житейского шума, ухо-дить и прятаться у себя в усадьбе—это не жизнь, это эгоизм, льня, от своего рода мо-нашество, но монашество без покаяния. Чело-веку нужно не три аршина земли, не усадь-ба, а кусок земной шарь, а я родом, гд на прострть ит мог бы льнать все свойства и особенности своего своеобразного духа“.

Итак, казалось бы, Чехов переродился. Абсолютному пессимизму явился на смену аб-солютный оптимизм. Пришла долгожданная „вбра в прогресс“. Но... Но именно в эти годы „обновления“ Чехов пишет своего „Дядю Ваню“. „Три сестры“ и др. гд звучат наиболее безотрадные признания, рисуется на-более мрачные картины.

На ряду с темным влнх противечен, при-зывающих: „...Жить то мелкое и призрачное, что унывает быть свободным и счастливым—вот пль и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит так вдале! Вперед! Не отворачивайся!“ (Трофимов из „Вишневой сады“); или, во, если бы посрбе наступила эта свтлая ясная жизнь, то, можно будет, прямо и смело смотреть в глаза своей ста-бл, сознавать себя прекрасн, быть все время свободным! А такая жизнь—рано или поздно настанет!“ („Невста“).

На ряду с ними в произведениях писателя большинство героев не удовлетворено таким „идеалом“ своей вбры. Они вбстят с автором на сло-вах, приняв „жизнь в прогресс“, в ду-ше не одобряют ее. Они чувствуют, что центр тяжести жнать в достижении пль теперь, немедленно, а не когда-нибудь, а не „через двести-триста лет“.

От того же „неизвестного человека“ мы слышим: „Я вбд,—говорит он,—свобод-ным пожеланиям будет легче и виднть; в их услугах будет наше счастье. Но, вбд, хочется жить, независимо от будущего по-койн, и не только для себя. Жизнь дается однок раз, и хочется, чтобы ее было осмы-слено, красиво... Я вбд и в философско-образности, и в необходимости того, что проис-ходит вокруг, во какое мне дню до этой не-обходимости, зачем пропадать моему я?“

И, поэтому не за тьм, не для чего ждть,—к такому выводу приходит Чехин-Гималай-ский из „Крыжовника“: „Свобода есть благо, но, вбд, я,—рассказывает Чехин,—сча-стья не вижу, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так (А вбстят с тьм в восьмидесятых годах говорить то же самое и Чехов), а теперь спрашиваю: во имя чего ждть?... во имя чего ждть, я вас спраши-ваю? Во имя каких соображений? Мне гово-рять, что не все сразу, всякая идея осущест-вляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Гд доказательство, что это справедливо? Вы слышали нас на естест-венный порядок вещей, за законность явлений, не есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек стою на до-рожке и жду, когда он зарастет сам, или изннеть его плем, во то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И оият так, но имя чего ждть? Ждть, когда плн стнть жить, а, между тьм, жить нужно и хо-чется жить“.

Гд же ршение загадки существования та-кой разннности во всем творчестве Че-хова-художника и если есть ршение ее, то тьм объясняется возможность подобного раз-деления? Для разрешения этого вопроса, мы снова принуждены вспомнить о родоначаль-ных чеховской труппы писателях—Лермон-тов!

Как в творчестве Лермон-та „Демона“ ли неизбежно замечает разделение между реали-стическими воззрениями и романтическими на-строениями, так и у Чехова красной нитью, во всех его рассказах, повствях и пьесах проходит глубокое разделение между индиви-дуалистическим воззрением и индивидуалисти-ческим настроением.

С одной стороны, перед писателем стоит безальтернативный вывод, что „через триста, четыреста лет вся земля обратится в при-ветный сад! И жизнь будет тогда необычно-важно легка и удобна“... „Теперь же дости-гнуть такой жизни нельзя и приходится уса-дывать мыслью о будущем блаженств и не по-кладая рук работать на благо грядущих по-колений, для устройства из сей земли при-ветного сада. И если в настоящее одно оп-тнское общество, с рткими проблемами жи-внкой, лучшей дати, то будем мы вбднть вбднть работать, не покладая рук, в пользу этого счастливого будущего“, утнать себя мы-слью, что: „мы работаем, мы страдаем—по-из этого страдаем и работ выростает сча-стье тьх, которые быть может будут при-ннать нас за безднкую, нелбную, и днскую жанду жизнь, и быть может и по-мнит нас“.

добрымъ словомъ"... А впрочемъ по нѣвному, —,люди не помянутъ, зато Богъ помянетъ" и „наши труды не пропадутъ... Будемъ же трудиться, памятуя, что мы только средство для счастья будущаго поколѣнія“...

Съ другой стороны изъ его груди, какъ у Ивана Карамазова, гирывается крикъ къ мучающейся и бунтующейся личности. „Не для того же я страдаю, чтобы собой, злодѣйствами и страданіями моими унавозить кому-то будущую гармонию“...

Писатель до болѣзненности чувствуетъ, что человекъ самъ есть цѣль, что человѣческая личность выше всего. Что: „въ явленіяхъ, которыхъ я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь имъ; я выше ихъ; человекъ долженъ сознать себя выше львовъ, тигровъ, звѣздъ, выше всего въ природѣ, даже выше того, что непонятно и кажется чудеснымъ, иначе онъ не человекъ, а мышь, которая всего боится“..., что человѣческая личность имѣетъ свою собственную абсолютность цѣнность.

И чувствуя все это, не можетъ не возстать противъ всѣхъ своихъ вчерашнихъ идоловъ: „Если людей топятъ и вѣшать, то къ чорту твою цивилизацію (выбѣть съ нею и процессъ разумеется), къ чорту человечество! Къ чорту!.. (Самойленко изъ „Дуэли“).

Разсматривая жизнь съ этой, второй точки зрѣнія, Чеховъ становится на сторону этического индивидуализма, возставая всей душой противъ реторическихъ выводовъ антииндивидуализма.

Въ Чеховѣ этотъ кризисъ является побѣдой „дешницы“ надъ „шуйцей“. Эта побѣда удовлетворила бы быть можетъ простого рядового человека, но подобнаго автору „Дяди Вани“ удовлетворить, спасти отъ раздвоенія, не могла; онъ не могъ отказаться отъ своей вѣры въ прогрессъ, такъ какъ именно эта вѣра спасла его отъ абсолютнаго пессимизма первой половины его дѣятельности, отъ ужаса передъ мѣщанствомъ жизни. Но и сама эта вѣра, какъ мы теперь знаемъ, еще не удовлетворяла, или удовлетворяла только отчасти, а потому грустные пессимистическія нотки остались до конца въ творчествѣ Чехова и онъ-то даетъ ключъ къ пониманію вывода художника, что человѣческая жизнь должна быть легкой, прекрасной, глубокой не черезъ триста-четыре-ста лѣтъ, а теперь, немедленно же...

Въ своемъ исканіи исполнить цѣлностей жизни, и переопредѣленіи существующихъ цѣнностей жизни общества, Чеховъ, а за нимъ вся больная ищущая и мнущаяся Россія опредѣленной исторической эпохи пришла къ исполнѣ логическому отрицанію общественнаго мѣщанства, къ похоронамъ своей „плоско-позитивной вѣры въ прогрессъ“ и возславленію яркаго этического индивидуализма.

Н. Миклашевскій.